Шерввыи Ленскыи

ДО СОБИНОВА были певцы, певшие теноровую партию в опере «Евгений Онегин», но не было Ленского. Он был первый Ленский.

В Москве предшественником Собинова в партии Ленского был **Л. М. Клементьев**. Отличный Нерон, в роли Ленского, он был Арбенин из Лермонтовского «Маскарада»: лет этак за 40, сильно поживший, высокий, грузный с ужасными косыми бачками. Иногда в лучшие минуты он казался опустившимся, постаревшим Онегиным, по ошибке распеваящим за Ленского. Каждый год из Петербурга приезжал **Н. Н. Фигнер** и пел Ленского. Партер его шумно приветствовал, дамы стояли ему в лицо: «Ангел! Божественный!» и забрасывали цветами. Галерка слушала хмуро...

Фигнер был блестящий вокалист, умный актер, но галерка — мы его ненавидели в Ленском. Это был сердеед — герцог из «Риголетто», переряженный во фрак 1820 годов: с подкрученными сверху черными усиками выхоленной шелковистой черной бородкой, с дон-жуановской хищной поволокой черных глаз, он был неотразим для дамских, более или менее пожилых, сердец партера и бенеуара. Элегия Чайковского и Пушкина превращалась в сладкую патоку Массене. Был еще третий Ленский, самый зна-

менитый — сам **Анжело Мазини** — король теноров. Слушать его Ленского можно было только с закрытыми глазами. Чудесный, густой, искрающийся звук его голоса можно было пить глотками, как драгоценное старое вино, не вникая ни на секунду в то, что он поет: это было чисто физическое наслаждение. Но стоило только открыть глаза, как хотелось забросать «коробля теноров» гнилыми яблоками, прогнать со сцены, зацвипая Пушкина и Чайковского. На поздравительных открытках бывали такие господа во фраках с демонической бородкой, с губами, навсегда застывшими «рочкой» для поцелуя; по паспорту такие господа оказывались коммивояжерами парфюмерных фирм, распространителями «Одолья». Вот такой господин стоял у рампы лицом к публике, улыбался и пел: «Куда, куда вы удалились!» — а когда подходила «верхняя нотка», он взмахивал вверх ручками, словно выпускал нарядную птичку в подарок госпоже публике. Это и был Ленский — Мазини.

Доживал век и еще один Ленский: **А. И. Барцап**, низенький, толстенный карапузик; правда, он пел при нас уже Трике, но при Чайковском, в первую постановку — он пел Ленского. Что же это было, — спрашивала себя галерка, — когда с ним, карапузком, выступал стройный, высокий **Хохлов** — Онегин? Это был Санчо-Пансо в роли Ленского.

Таковы были дособиновские Ленские Большого театра.

Известно, что Чайковский, как огня, боялся больших оперных театров для «Евгения Онегина». Страшась сорокалетних дородных примадонн для Татьяны и «душек-теноров» для Ленского, пугаясь вязкой, как болото, рутины большой оперы («Мне нужно, чтобы не было царей, народных бунтов, богов, маршей, — словом, всего, что составляет атрибут «grand opera»

— писал он Танееву), Чайковский предпочел видеть «Онегина» в ученическом спектакле и долго прятал оперу от больших театров. Но и в консерваторском ученическом спектакле 1879 г. не было Ленского. Еще здороватую две его участницы — **М. Н. Сумбатова-Южина**, певица в хоре, и **С. Е. Васильева**, танцовавшая на балу у Лариных. Обе помнят, как режиссированный спектакль **И. В. Самарин** мучился с известным впоследствии тенором **М. Е. Медведевым**, певшим тогда учеником Ленского. Старый актер превращался в юношу «с душою прямо геттингенской» и легкой безраздумной походкой бродил по сцену Лариных. «Ходите за мной» — оборачивался он на Ленского-Медведева. «Как я, так вы: я — шаг, вы — шаг». Он учил шаг Ленского; потом походке поэта, потом жесту влюбленного, потом мечтательной задумчивости «поклонника Канта». Учил, гневался, мучился — и не выучил. Ленского не было и на консерваторском спектакле. Его не было нигде. Был Онегин — великолепный, незабываемый **П. А. Хохлов**. Но Ленского Чайковский не видал. Образ, наиболее после Татьяны насыщенный Пушкиным, подвергался в опере наибольшему поруганию. Если весь «Онегин» первая штатская опера в России, без царей, мантий и шлямов был совершеннейшей новостью, то Ленский вместе с Татьяной был главнейшим выразителем этой новизны. В самом Онегине есть поза, драпировка, роль; в Ленском именно та «поэтичность», человечность, простота», которая так привлекала Чайковского к пушкинскому сюжету. Она-то и не давалась никому в партии Ленского.

Появление молодого Собинова в партии Ленского я живо помню. Оно совпало со столетием Пушкина (1899). Для нас, галерки, это была смерть Арбениным, герцогам и ком-

мивояжерам, это было воскресение Пушкина и Чайковского. Для галерки это было чуть что не революционное событие. В первый раз Ленскому было «без малого осмнадцать лет», а не 35 и не 40. В первый раз он был «с душою прямо геттингенской, красавец в полном цвете лет», а не потертый тамбовский Дон-Жуан во фраке. В первый раз — это главное, это самое радостное! — в первый раз верилось

**Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно стран-**

**ный,
Всегда восторженную речь...**

Это был Ленский Пушкина, тот милый ему и нам образ, в который, как мы знаем теперь, воплотились и восторженный декабрист Кюхля, и московский идеалист «любомудр», и сам молодой Пушкин, автор ранних элегий. Пушкин, из стихов которого состоит почти сплошь роль Ленского, впервые мог бы узнать на сцене своего поэта. В исполнении прежних, будто бы, Ленских еще можно было кое-как слушать Чайковского, но не Пушкина: певцы без дикции (исключая Фигнера), без малейшего внимания к слову, они топили Пушкина в самодовлеющей мелодии. У Собинова каждое слово Пушкина доходило до крайних пределов нашей камчатки-галерки. При серебряной красоте голоса Собинов никогда им не заслушивался до samozабвения, до слепого поглощения звуку, только звуку, голому звуку, как Мазини. Он никогда не делал кумира из своего голоса. Его голос был благородный, тончайший, отзывчивый инструмент, на котором он играл «высокую, важную песню» (Пушкин).

Он рассказывал «вольнолюбивые мечты» Ленского; он в мелосе Чайковского отражал тот «дух пылкий и

довольно странный», которым надеялся Ленский Пушкин. Ленский Собинова вовсе не был «герой». Он и ссорился с Онегиным не как Дон-Хозе из черноземного захолустья, как было у Фигнера, — а как поссорился бы вбалмонный Кюхля. Но — реальный, простой, наивный — словно прямо из липовой аллеи случайно забредший на сцену — Ленский Собинова был необыкновенно привлекателен «чистейшей прелестью чистейший образец». Его не только слушали, ему не только верили, его любили, его жалели, — и когда он падал, сраженный Онегиным, не только приходили на сердце слова жалеющего Пушкина: «Друзья мои, вам жаль поэта: во цвете радостных надежд — увял!», — приходило на сердце другое: приходил сам Пушкин «сраженный, как и он, безжалостной рукой».

Галерка неистовствовала, торжествуя появление первого Ленского. Гасли огни, ворчали капельдинеры в золотых галунах с царскими орлами, а с галерки несло: «Собинов! Собинов!».

При разезде на крыльце какой-то недовольный господин в бобрах набросался на нас:

— Надо же, молодые люди, знать меру! Это же не Фигнер, не Мазини...

Мы учтиво поклонились: не Фигнер, не Мазини — но прибавили:

— Но этого Ленского, верно, похвалил бы Александр Сергеевич, но ему аплодировал бы Петр Ильич...

Господин презрительно закутался в бобры и исчез, пожимая плечами.

А через год все Ленские сбрили бородки, а еще через год Фигнер перестал ездить в Москву петь Ленского, а Собинов поехал петь в Петербург. Скоро вся Россия узнала и полюбила первого Ленского.

ПОСЕТИТЕЛЬ ГАЛЕРКИ

Шервыи Ленский

ДО СОБИНОВА были певцы, певшие теноровую партию в опере «Евгений Онегин», но не было Ленского. Он был первый Ленский.

В Москве предшественником Собинова в партии Ленского был **Л. М. Клементьев**. Отличный Герон, в роли Ленского, он был Арбенин из дермонтовского «Маскарада»: лет этак за 40, сильно поживший, высокий, грузный с ужасными косыми бачками. Иногда в лучшие минуты он казался опустившимся, постаревшим Онегиным, по ошибке распевавшим за Ленского. Каждый год из Петербурга приезжал **Н. Н. Фигнер** и пел Ленского. Партер его шумно приветствовал, дамы стонали ему в лицо: «Ангел! Божественный!» и забрасывали цветами. Галерка слушала хмуро...

Фигнер был блестящий вокалист, умный актер, но галерка — мы его ненавидели в Ленском. Это был сердеед — герцог из «Риголетто», перереженный во фрак 1820 годов: с полкрученными сверху черными усиками выхоленной шелковистой черной бородкой, с дон-жуановской хищноватой поволокой черных глаз, он был неотразим для дамских, более или менее пожатых, сердец партера и бенуара. Элегия Чайковского и Пушкина превращалась в сладкую патоку Массене. Был еще третий Ленский, самый зна-

менитый — сам **Анжело Мазини** — король теноров. Слушать его Ленского можно было только с закрытыми глазами. Чудесный, густой, искрящийся звук его голоса можно было пить плотками, как драгоценное старое вино, не вникая ни на секунду в то, что он поет: это было чисто физическое наслаждение. Но стоило только открыть глаза, как хотелось забросать «сорофя теноров» пшилыми яблоками, прогнав со сцены, защищая Пушкина и Чайковского. На поздравительных открытках бывали такие господа во фраках с демонической бородкой, с губами, навсегда застывшими «рочкой» для поцелуя; по паспорту такие господа оказывались коммивояжерами парфюмерных фирм, распространителями «Одоля». Вот такой господин стоял у рампы лицом к публике, улыбаясь и пел: «Куда, куда вы удалились!» — а когда подходила «сверхняя нотка», он взмахивал вверх ручками, словно выгуживал нарядную птичку в подарок госпоже публике. Это и был Ленский — Мазини.

Доживал век и еще один Ленский: **А. И. Барцал**, низенький, толстенький карапузик; правда, он пел при нас уже Трике, но при Чайковском, в первую постановку — он пел Ленского.

Что же это было, — спрашивала себя галерка, — когда с ним, карапузиком, выступал стройный, высокий **Хохлов** — Онегин? Это был Санчо-Пансо в роли Ленского.

Таковы были дособиновские Ленские Большого театра.

Известно, что Чайковский, как огня, боялся больших оперных театров для «Евгения Онегина». Страшась сорокалетних дородных примадон для Татьяны и «душек-теноров» для Ленского, пугаясь вязкой, как болото, рутинной большой оперы («Мне нужно, чтобы не было царей, народных бучтов, богов, маршей, — словом, всего, что составляет атрибут «grand opera»

— писал он Танееву), Чайковский предпочел видеть «Онегина» в учебническом спектакле и долго прятал оперу от больших театров. Но и в консерваторском учебническом спектакле 1879 г. не было Ленского. Еще здравствуя две его участницы — **М. Н. Сумбатова-Южина**, певица в хоре, и **С. Е. Васильева**, танцовщица на балу у Лариных. Обе помнят, как режиссированный спектакль **И. В. Самарин** мучился с известным впоследствии тенором **М. Е. Медведевым**, певшим тогда учеником Ленского. Старый актер превращался в юношу «с душою прямо теттингенской» и легкой безраздумной походкой бродил по саду Лариных, «Ходите за мной» — оборачивался он на Ленского-Медведева. «Как я, так вы: я — шаг, вы — шаг». Он учил шагу Ленского; потом походке поэта, потом жесту влюбленного, потом мечтательной задумчивости «поклонника Канта». Учил, гневился, мучился — и не выучил. Ленского не было и на консерваторском спектакле. Его не было нигде. Был Онегин — великолепный, незабываемый **П. А. Хохлов**. Но Ленского Чайковский не видал. Образ, наиболее после Татьяны насыщенный Пушкиным, подвергался в опере наибольшему поруганию. Если весь «Онегин» первая штабская опера в России, без царей, мантий и шлямов был совершеннейшей новостью, то Ленский вместе с Татьяной был главнейшим выразителем этой новизны. В самом Онегине есть поза, драпировка, роль; в Ленском именно та «поэтичность», человечность, простота», которая так привлекала Чайковского к пушкинскому сюжету. Она-то и не давалась никому в партии Ленского.

Появление молодого Собинова в партии Ленского я живо помню. Оно совпало со столетием Пушкина (1899). Для нас, галерки, это была смерть Арбениным, герцогам и ком-

мивояжерам, это было воскресение Пушкина и Чайковского. Для галерки это было чуть что не революционное событие. В первый раз Ленскому было «без малого осмнадцать лет», а не 55 и не 40. В первый раз он был «с душою прямо теттингенской, красавец в полном цвете лет», а не потертый тамбовский Дон-Жуан во фраке. В первый раз — это главное, это самое радостное! — в первый раз вералось

Он из Германии туманной

Привез учености плоды:

Вольнолюбивые мечты,

Дух пылкий и довольно стран-

ный,

Всегда восторженную речь...

Это был Ленский Пушкина, тот милый ему и нам образ, в который, как мы знаем теперь, воплотились и восторженный декабрист Кюхля, и московский идеалист «любомудр», и сам молодой Пушкин, автор ранних элегий. Пушкин, из стихов которого состоит почти сплошь роль Ленского, впервые мог бы узнать на сцене своего поэта. В исполнении прежних, буд-то бы, Ленских еще можно было кое-как слушать Чайковского, но не Пушкина: певцы без дикции (исключая Фигнера), без малейшего внимания к слову, они топили Пушкина в самодвлекющей мелодии. У Собинова каждое слово Пушкина доходило до крайних пределов нашей камчатки-галерки. При серебряной красоте голоса Собинов никогда им не заслушивался до самозабвения, до слепого поклонения звуку, только звуку, голому звуку, как Мазини. Он никогда не делал кумира из своего голоса. Его голос был благородный, тончайший, отзывчивый инструмент, на котором он играл «высокую, важную песню» (Пушкин).

Он рассказывал «вольнолюбивые мечты» Ленского; он в мелосе Чайковского отражал тот «дух пылкий и

довольно странный», которым наделил Ленского Пушкин. Ленский Собинова вовсе не был «герой». Он и ссорился с Онегиным не как Дон-Хозе из черноземного захолустья, как было у Фигнера, — а как поссорился бы вбаломошный Кюхля. Но — реальный, простой, наивный — словно прямо из липовой аллеи случайно забредший на сцену — Ленский Собинова был необыкновенно привлекателен «чистойшей прелести чистойшей образец». Его не только слушали, ему не только верили, его любили, его жалели, — и когда он падал, сраженный Онегиным, не только приходили на сердце слова жалеющего Пушкина: «Друзья мои, вам жаль поэта: во цвете радостных надежд — увял!», — приходило на сердце другое: приходил сам Пушкин «сраженный, как и он, безжалостной рукою».

Галерка неистовствовала, торжествуя появление первого Ленского. Гали огни, ворчали капельники в золотых галунах с царскими орлами, а с галерки несло: «Собинов! Собинов!»

При разезде на крыльце какой-то недобольный господин в бобрах набросился на нас:

— Надо же, молодые люди, знать меру! Это же не Фигнер, не Мазини...

Мы учтиво поклонились: не Фигнер, не Мазини — но прибавили:

— Но этого Ленского, верно, похвалил бы Александр Сергеевич, во ему аплодировал бы Петр Ильич...

Господин презрительно закатался в бобры и исчез, пожимая плечами.

А через год все Ленские сбродили бородки, а еще через год Фигнер перестал ездить в Москву петь Ленского, а Собинов поехал петь в Петербург. Скоро вся Россия узнала и полюбила первого Ленского.

ПОСЕТИТЕЛЬ ГАЛЕРКИ